

Анна на шее

автор **Антон Павлович Чехов**

(1860—1904)



Экспортировано из Викитеки 25 сентября 2024 г.

I

После венчания не было даже лёгкой закуски; молодые выпили по бокалу, переоделись и поехали на вокзал. Вместо весёлого свадебного бала и ужина, вместо музыки и танцев — поездка на богомолье за двести вёрст. Многие одобрили это, говоря, что Модест Алексеич уже в чинах и не молод, и шумная свадьба могла бы, пожалуй, показаться не совсем приличной; да и скучно слушать музыку, когда чиновник 52 лет женится на девушке, которой едва минуло 18. Говорили также, что эту поездку в монастырь Модест Алексеич, как человек с правилами, затеял, собственно, для того, чтобы дать понять своей молодой жене, что и в браке он отдаёт первое место религии и нравственности.

Молодых провожали. Толпа сослуживцев и родных стояла с бокалами и ждала, когда пойдёт поезд, чтобы крикнуть ура, и Пётр Леонтьич, отец, в цилиндре, в учительском фраке, уже пьяный и уже очень бледный, всё тянулся к окну со своим бокалом и говорил умоляюще:

— Анюта! Аня! Аня, на одно слово!

Аня наклонялась к нему из окна, и он шептал ей что-то, обдавая её запахом винного перегара, дул в ухо —

ничего нельзя было понять — и крестил ей лицо, грудь, руки; при этом дыхание у него дрожало и на глазах блестели слёзы. А братья Ани, Петя и Андрюша, гимназисты, дёргали его сзади за фрак и шептали сконфуженно:

— Папочка, будет... Папочка, не надо...

Когда поезд тронулся, Аня видела, как её отец побежал немножко за вагоном, пошатываясь и расплёскивая своё вино, и какое у него было жалкое, доброе, виноватое лицо.

— Ура-а-а! — кричал он.

Молодые остались одни. Модест Алексеич осмотрелся в купе, разложил вещи по полкам и сел против своей молодой жены, улыбаясь. Это был чиновник среднего роста, довольно полный, пухлый, очень сытый, с длинными бакенами и без усов, и его бритый, круглый, резко очерченный подбородок походил на пятку. Самое характерное в его лице было отсутствие усов, это свежесбритое, голое место, которое постепенно переходило в жирные, дрожащие, как желе, щёки. Держался он солидно, движения у него были не быстрые, манеры мягкие.

— Не могу не припомнить теперь одного обстоятельства, — сказал он, улыбаясь. — Пять лет назад, когда Косоротов получил орден святыя Анны второй степени и пришёл благодарить, то его сиятельство выразился так: «Значит, у вас теперь три

Анны: одна в петлице, две на шее»^[1]. А надо сказать, что в то время к Косоротову только что вернулась его жена, особа сварливая и легкомысленная, которую звали Анной. Надеюсь, что когда я получу Анну второй степени, то его сиятельство не будет иметь повода сказать мне то же самое.

Он улыбался своими маленькими глазками. И она тоже улыбалась, волнуясь от мысли, что этот человек может каждую минуту поцеловать её своими полными, влажными губами и что она уже не имеет права отказать ему в этом. Мягкие движения его пухлого тела пугали её, ей было и страшно, и гадко. Он встал, не спеша снял с шеи орден, снял фрак и жилет и надел халат.

— Вот так, — сказал он, садясь рядом с Аней.

Она вспоминала, как мучительно было венчание, когда казалось ей, что и священник, и гости, и все в церкви глядели на неё печально: зачем, зачем она, такая милая, хорошая, выходит за этого пожилого, неинтересного господина? Ещё утром сегодня она была в восторге, что всё так хорошо устроилось, во время же венчания и теперь в вагоне чувствовала себя виноватой, обманутой и смешной. Вот она вышла за богатого, а денег у неё всё-таки не было, венчальное платье шили в долг, и, когда сегодня её провожали отец и братья, она по их лицам видела, что у них не было ни копейки. Будут ли они сегодня ужинать? А завтра? И ей почему-то казалось, что отец и мальчики сидят теперь без неё голодные и

испытывают точно такую же тоску, какая была в первый вечер после похорон матери.

«О, как я несчастна! — думала она. — Зачем я так несчастна?»

С неловкостью человека солидного, не привыкшего обращаться с женщинами, Модест Алексеич трогал её за талию и похлопывал по плечу, а она думала о деньгах, о матери, об её смерти. Когда умерла мать, отец, Пётр Леонтьич, учитель чистописания и рисования в гимназии, запил, наступила нужда; у мальчиков не было сапог и калош, отца таскали к мировому, приходил судебный пристав и описывал мебель... Какой стыд! Аня должна была ухаживать за пьяным отцом, штопать братьям чулки, ходить на рынок, и, когда хвалили её красоту, молодость и изящные манеры, ей казалось, что весь свет видит её дешёвую шляпку и дырочки на ботинках, замазанные чернилами. А по ночам слёзы и неотвязчивая, беспокойная мысль, что скоро-скоро отца уволят из гимназии за слабость и что он не перенесёт этого и тоже умрёт, как мать. Но вот знакомые дамы засуетились и стали искать для Ани хорошего человека. Скоро нашёлся вот этот самый Модест Алексеич, не молодой и не красивый, но с деньгами. У него в банке тысяч сто и есть родовое имение, которое он отдаёт в аренду. Это человек с правилами и на хорошем счету у его сиятельства; ему ничего не стоит, как говорили Ане, взять у его сиятельства записочку к директору гимназии

и даже к попечителю, чтобы Петра Леонтыча не увольняли...

Пока она вспоминала эти подробности, послышалась вдруг музыка, ворвавшаяся в окно вместе с шумом голосов. Это поезд остановился на полустанке. За платформой в толпе бойко играли на гармонике и на дешёвой визгливой скрипке, а из-за высоких берёз и тополей, из-за дач, залитых лунным светом, доносились звуки военного оркестра: должно быть, на дачах был танцевальный вечер. На платформе гуляли дачники и горожане, приезжавшие сюда в хорошую погоду подышать чистым воздухом. Был тут и Артынов, владелец всего этого дачного места, богач, высокий, полный брюнет, похожий лицом на армянина, с глазами навывкате и в странном костюме. На нём была рубаха, расстёгнутая на груди, и высокие сапоги со шпорами, и с плеч спускался чёрный плащ, тащившийся по земле, как шлейф. За ним, опутив свои острые морды, ходили две борзые.

У Ани ещё блестели на глазах слёзы, но она уже не помнила ни о матери, ни о деньгах, ни о своей свадьбе, а пожимала руки знакомым гимназистам и офицерам, весело смеялась и говорила быстро:

— Здравствуйте! Как поживаете?

Она вышла на площадку, под лунный свет, и стала так, чтобы видели её всю в новом великолепном платье и в шляпке.

— Зачем мы здесь стоим? — спросила она.

— Здесь разъезд, — ответили ей, — ожидают почтового поезда.

Заметив, что на неё смотрит Артынов, она кокетливо прищурила глаза и заговорила громко по-французски, и оттого, что её собственный голос звучал так прекрасно и что слышалась музыка и луна отражалась в пруде, и оттого, что на неё жадно и с любопытством смотрел Артынов, этот известный дон-жуан и баловник, и оттого, что всем было весело, она вдруг почувствовала радость, и, когда поезд тронулся и знакомые офицеры на прощанье сделали ей под козырёк, она уже напевала польку, звуки которой посылал ей вдогонку военный оркестр, гремевший где-то там за деревьями; и вернулась она в своё купе с таким чувством, как будто на полустанке её убедили, что она будет счастлива непременно, несмотря ни на что.

Молодые пробыли в монастыре два дня, потом вернулись в город. Жили они на казённой квартире. Когда Модест Алексеич уходил на службу, Аня играла на рояле, или плакала от скуки, или ложилась на кушетку и читала романы, и рассматривала модный журнал. За обедом Модест Алексеич ел очень много и говорил о политике, о назначениях, переводах и наградах, о том, что надо трудиться, что семейная жизнь есть не удовольствие, а долг, что копейка рубль бережёт и что выше всего на свете он ставит религию и нравственность. И, держа нож в кулаке, как меч, он говорил:

— Каждый человек должен иметь свои обязанности!

А Аня слушала его, боялась и не могла есть, и обыкновенно вставала из-за стола голодной. После обеда муж отдыхал и громко храпел, а она уходила к своим. Отец и мальчики посматривали на неё как-то особенно, как будто только что до её прихода осуждали её за то, что она вышла из-за денег, за нелюбимого, нудного, скучного человека; её шуршащее платье, браслетки и вообще дамский вид стесняли, оскорбляли их; в её присутствии они немножко конфузились и не знали, о чём говорить с ней; но всё же любили они её по-прежнему и ещё не привыкли обедать без неё. Она садилась и кушала с ними щи, кашу и картошку, жаренную на бараньем сале, от которого пахло свечкой. Пётр Леонтьич дрожащей рукой наливал из графинчика и выпивал быстро, с жадностью, с отвращением, потом выпивал другую рюмку, потом третью... Петя и Андрюша, худенькие, бледные мальчики с большими глазами, брали графинчик и говорили растерянно:

— Не надо, папочка... Довольно, папочка...

И Аня тоже тревожилась и умоляла его больше не пить, а он вдруг вспыхивал и стучал кулаком по столу.

— Я никому не позволю надзирать за мной! — кричал он. — Мальчишки! Девчонка! Я вас всех выгоню вон!

Но в голосе его слышались слабость, доброта, и никто его не боялся. После обеда обыкновенно он наряжался; бледный, с порезанным от бритья подбородком,

вытягивая тощую шею, он целых полчаса стоял перед зеркалом и прихорашивался, то причёсываясь, то закручивая свои чёрные усы, прыскался духами, завязывал бантом галстук, потом надевал перчатки, цилиндр и уходил на частные уроки. А если был праздник, то он оставался дома и писал красками или играл на фисгармонии, которая шипела и рычала; он старался выдавить из неё стройные, гармоничные звуки и подпевал, или же сердился на мальчиков:

— Мерзавцы! Негодяи! Испортили инструмент!

По вечерам муж Ани играл в карты со своими сослуживцами, жившими с ним под одной крышей в казённом доме. Сходились во время карт жёны чиновников, некрасивые, безвкусно наряжённые, грубые, как кухарки, и в квартире начинались сплетни, такие же некрасивые и безвкусные, как сами чиновницы. Случалось, что Модест Алексеич ходил с Аней в театр. В антрактах он не отпускал её от себя ни на шаг, а ходил с ней под руку по коридорам и по фойе. Раскланявшись с кем-нибудь, он тотчас уже шептал Ане: «Статский советник... принят у его сиятельства...» или: «Со средствами... имеет свой дом...» Когда проходили мимо буфета, Ане очень хотелось чего-нибудь сладкого; она любила шоколад и яблочное пирожное, но денег у неё не было, а спросить у мужа она стеснялась. Он брал грушу, мял её пальцами и спрашивал нерешительно:

— Сколько стоит?

— Двадцать пять копеек.

— Однако! — говорил он и клал грушу на место; но так как было неловко отойти от буфета, ничего не купивши, то он требовал сельтерской воды и выпивал один всю бутылку, и слёзы выступали у него на глазах, и Аня ненавидела его в это время.

Или он, вдруг весь покраснев, говорил ей быстро:

— Поклонись этой старой даме!

— Но я с ней незнакома.

— Всё равно. Это супруга управляющего казённой палатой! Поклонись же, тебе говорю! — ворчал он настойчиво. — Голова у тебя не отвалится.

Аня кланялась, и голова у неё в самом деле не отваливалась, но было мучительно. Она делала всё, что хотел муж, и злилась на себя за то, что он обманул её, как последнюю дурочку. Выходила она за него только из-за денег, а между тем денег у неё теперь было меньше, чем до замужества. Прежде хоть отец давал двугривенные, а теперь — ни гроша. Брать тайно или просить она не могла, она боялась мужа, трепетала его. Ей казалось, что страх к этому человеку она носит в своей душе уже давно. Когда-то в детстве самой внушительной и страшной силой, надвигающейся как туча или локомотив, готовый задавить, ей всегда представлялся директор гимназии; другой такую же силой, о которой в семье всегда говорили и которую почему-то боялись, был его сиятельство; и был ещё десяток сил помельче, и между ними учителя гимназии с

бритыми усами, строгие, неумолимые, и теперь вот, наконец, Модест Алексеич, человек с правилами, который даже лицом походил на директора. И в воображении Ани все эти силы сливались в одно и в виде одного страшного громадного белого медведя надвигались на слабых и виноватых, таких, как её отец, и она боялась сказать что-нибудь против, и натянуто улыбалась, и выражала притворное удовольствие, когда её грубо ласкали и оскверняли объятиями, наводившими на неё ужас.

Только один раз Пётр Леонтьич осмелился попросить у него пятьдесят рублей взаймы, чтобы заплатить какой-то очень неприятный долг, но какое это было страдание!

— Хорошо, я вам дам, — сказал Модест Алексеич, подумав, — но предупреждаю, что больше уже не буду помогать вам, пока вы не бросите пить. Для человека, состоящего на государственной службе, постыдна такая слабость. Не могу не напомнить вам общеизвестного факта, что многих способных людей погубила эта страсть, между тем как при воздержании они, быть может, могли бы со временем сделаться высокопоставленными людьми.

И потянулись длинные периоды: «по мере того»... «исходя из того положения»... «ввиду только что сказанного», а бедный Пётр Леонтьич страдал от унижения и испытывал сильное желание выпить.

И мальчики, приходившие к Ане в гости, обыкновенно в рваных сапогах и в поношенных брюках,

тоже должны были выслушивать наставления.

— Каждый человек должен иметь свои обязанности! — говорил им Модест Алексеич.

А денег не давал. Но зато он дарил Ане кольца, браслеты и броши, говоря, что эти вещи хорошо иметь про чёрный день. И часто он отпирал её комод и делал ревизию: все ли вещи целы.

II

Наступила между тем зима. Ещё задолго до Рождества в местной газете было объявлено, что 29-го декабря в дворянском собрании «имеет быть» обычный зимний бал. Каждый вечер после карт Модест Алексеич, взволнованный, шептался с чиновницами, озабоченно поглядывая на Аню, и потом долго ходил из угла в угол, о чём-то думая. Наконец, как-то поздно вечером, он остановился перед Аней и сказал:

— Ты должна сшить себе бальное платье. Понимаешь? Только, пожалуйста, посоветуйся с Марьей Григорьевной и с Натальей Кузьминишной.

И дал ей сто рублей. Она взяла; но, заказывая бальное платье, ни с кем не советовалась, а поговорила только с отцом и постаралась вообразить себе, как бы оделась на бал её мать. Её покойная мать сама одевалась всегда по последней моде и всегда возилась с Аней и одевала её

изящно, как куклу, и научила её говорить по-французски и превосходно танцевать мазурку (до замужества она пять лет прослужила в гувернантках). Аня так же, как мать, могла из старого платья сделать новое, мыть в бензине перчатки, брать напрокат bijoux^[2] и так же, как мать, умела щурить глаза, картавить, принимать красивые позы, приходить, когда нужно, в восторг, глядеть печально и загадочно. А от отца она унаследовала тёмный цвет волос и глаз, нервность и эту манеру всегда прихорашиваться.

Когда за полчаса до отъезда на бал Модест Алексеич вошёл к ней без сюртука, чтобы перед её трюмо надеть себе на шею орден, то, очарованный её красотой и блеском её свежего, воздушного наряда, самодовольно расчесал себе бакены и сказал:

— Вот ты у меня какая... вот ты какая! Анята! — продолжал он, вдруг впадая в торжественный тон. — Я тебя осчастливил, а сегодня ты можешь осчастливить меня. Прошу тебя, представься супруге его сиятельства! Ради бога! Через неё я могу получить старшего докладчика!

Поехали на бал. Вот и дворянское собрание, и подъезд со швейцаром. Передняя с вешалками, шубы, снующие лакеи и декольтированные дамы, закрывающиеся веерами от сквозного ветра; пахнет светильным газом и солдатами. Когда Аня, идя вверх по лестнице под руку с мужем, услышала музыку и увидела в громадном зеркале всю себя, освещённую множеством огней, то в душе её

проснулась радость и то самое предчувствие счастья, какое испытала она в лунный вечер на полустанке. Она шла гордая, самоуверенная, в первый раз чувствуя себя не девочкой, а дамой, и невольно походкою и манерами подражая своей покойной матери. И в первый раз в жизни она чувствовала себя богатой и свободной. Даже присутствие мужа не стесняло её, так как, перейдя порог собрания, она уже угадала инстинктом, что близость старого мужа нисколько не унижает её, а, наоборот, кладёт на неё печать пикантной таинственности, которая так нравится мужчинам. В большой зале уже гремел оркестр и начались танцы. После казённой квартиры, охваченная впечатлениями света, пестроты, музыки, шума, Аня окинула взглядом залу и подумала: «Ах, как хорошо!» и сразу отличила в толпе всех своих знакомых, всех, кого она раньше встречала на вечерах или на гуляньях, всех этих офицеров, учителей, адвокатов, чиновников, помещиков, его сиятельство, Артынова и дам высшего общества, разодетых, сильно декольтированных, красивых и безобразных, которые уже занимали свои позиции в избушках и павильонах благотворительного базара, чтобы начать торговлю в пользу бедных. Громадный офицер в эполетах — она познакомилась с ним на Старо-Киевской улице, когда была гимназисткой, а теперь не помнила его фамилии — точно из-под земли вырос и пригласил на вальс, и она отлетела от мужа, и ей уж казалось, будто она плыла на парусной лодке, в сильную бурю, а муж остался далеко на берегу... Она танцевала страстно, с увлечением и

вальс, и польку, и кадрили, переходя с рук на руки, угорая от музыки и шума, мешая русский язык с французским, картавя, смеясь и не думая ни о муже, ни о ком и ни о чём. Она имела успех у мужчин, это было ясно, да иначе и быть не могло, она задыхалась от волнения, судорожно тискала в руках веер и хотела пить. Отец, Пётр Леонтьич, в помятом фраке, от которого пахло бензином, подошёл к ней, протягивая блюдечко с красным мороженым.

— Ты очаровательна сегодня, — говорил он, глядя на неё с восторгом, — и никогда ещё я так не жалел, что ты поспешила замуж... Зачем? Я знаю, ты сделала это ради нас, но... — он дрожащими руками вытащил пачечку денег и сказал: — Я сегодня получил с урока и могу отдать долг твоему мужу.

Она сунула ему в руки блюдечко и, подхваченная кем-то, унеслась далеко и мельком, через плечо своего кавалера, видела, как отец, скользя по паркету, обнял даму и понёсся с ней по зале.

«Как он мил, когда трезв!» — думала она.

Мазурку она танцевала с тем же громадным офицером; он важно и тяжело, словно туша в мундире, ходил, поводил плечами и грудью, притоптывал ногами еле-еле — ему страшно не хотелось танцевать, а она порхала около, дразня его своей красотой, своей открытой шеей; глаза её горели задором, движения были страстные, а он становился всё равнодушнее и протягивал к ней руки милостиво, как король.

— Браво, браво!.. — говорили в публике.

Но мало-помалу и громадного офицера прорвало; он оживился, заволновался и, уже поддавшись очарованию, вошёл в азарт и двигался легко, молодо, а она только поводила плечами и глядела лукаво, точно она уже была королева, а он раб, и в это время ей казалось, что на них смотрит вся зала, что все эти люди млеют и завидуют им. Едва громадный офицер успел поблагодарить её, как публика вдруг расступилась и мужчины вытянулись как-то странно, опустив руки... Это шёл к ней его сиятельство, во фраке с двумя звёздами. Да, его сиятельство шёл именно к ней, потому что глядел прямо на неё в упор и слащаво улыбался, и при этом жевал губами, что делал он всегда, когда видел хорошеньких женщин.

— Очень рад, очень рад... — начал он. — А я прикажу посадить вашего мужа на гауптвахту за то, что он до сих пор скрывал от нас такое сокровище. Я к вам с поручением от жены, — продолжал он, подавая ей руку, — Вы должны помочь нам... М-да... Нужно назначить вам премию за красоту... как в Америке... М-да... Американцы... Моя жена ждёт вас с нетерпением.

Он привёл её в избушку, к пожилой даме, у которой нижняя часть лица была несоразмерно велика, так что казалось, будто она во рту держала большой камень.

— Помогите нам, — сказала она в нос, нараспев. — Все хорошенькие женщины работают на

благотворительном базаре, и только одна вы почему-то гуляете. Отчего вы не хотите нам помочь?

Она ушла, и Аня заняла её место около серебряного самовара с чашками. Тотчас же началась бойкая торговля. За чашку чаю Аня брала не меньше рубля, а громадного офицера заставила выпить три чашки. Подошёл Артынов, богач, с выпуклыми глазами, страдающий одышкой, но уже не в том странном костюме, в каком видела его Аня летом, а во фраке, как все. Не отрывая глаз с Ани, он выпил бокал шампанского и заплатил сто рублей, потом выпил чаю и дал ещё сто — и всё это молча, страдая астмой... Аня зазывала покупателей и брала с них деньги, уже глубоко убеждённая, что её улыбки и взгляды не доставляют этим людям ничего, кроме большого удовольствия. Она уже поняла, что она создана исключительно для этой шумной, блестящей, смеющейся жизни с музыкой, танцами, поклонниками, и давнишний страх её перед силой, которая надвигается и грозит задавить, казался ей смешным; никого она уже не боялась и только жалела, что нет матери, которая порадовалась бы теперь вместе с ней её успехам.

Пётр Леонтьич, уже бледный, но ещё крепко держась на ногах, подошёл к избушке и попросил рюмку коньяку. Аня покраснела, ожидая, что он скажет что-нибудь неподобающее (ей уже было стыдно, что у неё такой бедный, такой обыкновенный отец), но он выпил, выбросил из своей пачечки десять рублей и важно

отошёл, не сказав ни слова. Немного погодя она видела, как он шёл в паре в grand rond^[3] и в этот раз он уже пошатывался и что-то выкрикивал, к великому конфузу своей дамы, и Аня вспомнила, как года три назад на балу он так же вот пошатывался и выкрикивал — и кончилось тем, что ОКОЛОТОЧНЫЙ увёз его домой спать, а на другой день директор грозил уволить со службы. Как некстати было это воспоминание!

Когда в избушках потухли самовары и утомлённые благотворительницы сдали выручку пожилой даме с камнем во рту, Артынов повёл Аню под руку в залу, где был сервирован ужин для всех участвовавших в благотворительном базаре. Ужинало человек двадцать, не больше, но было очень шумно. Его сиятельство провозгласил тост: «В этой роскошной столовой будет уместно выпить за процветание дешёвых столовых, служивших предметом сегодняшнего базара». Бригадный генерал предложил выпить «за силу, перед которой пасует даже артиллерия», и всё потянулись чокаться с дамами. Было очень, очень весело!

Когда Аню провожали домой, то уже светало и кухарки шли на рынок. Радостная, пьяная, полная новых впечатлений, замученная, она разделась, повалилась в постель и тотчас же уснула...

Во втором часу дня её разбудила горничная и доложила, что приехал господин Артынов с визитом. Она быстро оделась и пошла в гостиную. Вскоре после Артынова приезжал его сиятельство благодарить за

участие в благотворительном базаре. Он, глядя на неё слащаво и жуя, поцеловал ей ручку и попросил позволения бывать ещё и уехал, а она стояла среди гостиной, изумлённая, очарованная, не веря, что перемена в её жизни, удивительная перемена, произошла так скоро; и в это самое время вошёл её муж, Модест Алексеич... И перед ней также стоял он теперь с тем же заискивающим, сладким, холопски-почтительным выражением, какое она привыкла видеть у него в присутствии сильных и знатных; и с восторгом, с негодованием, с презрением, уже уверенная, что ей за это ничего не будет, она сказала, отчётливо выговаривая каждое слово:

— Подите прочь, болван!

После этого у Ани не было уже ни одного свободного дня, так как она принимала участие то в пикнике, то в прогулке, то в спектакле. Возвращалась она домой каждый день под утро и ложилась в гостиной на полу, и потом рассказывала всем трогательно, как она спит под цветами. Денег нужно было очень много, но она уже не боялась Модеста Алексеича и тратила его деньги, как свои; и она не просила, не требовала, а только посылала ему счета или записки: «выдать подателю сего 200 р.» или: «немедленно уплатить 100 р.»

На Пасхе Модест Алексеич получил Анну второй степени. Когда он пришёл благодарить, его сиятельство отложил в сторону газету и сел поглубже в кресло.

— Значит, у вас теперь три Анны, — сказал он, осматривая свои белые руки с розовыми ногтями, — одна в петлице, две на шее^[1].

Модест Алексеич приложил два пальца к губам из осторожности, чтобы не рассмеяться громко, и сказал:

— Теперь остаётся ожидать появления на свет маленького Владимира. Осмелюсь просить ваше сиятельство в восприемники.

Он намекал на Владимира IV степени и уже воображал, как он будет всюду рассказывать об этом своём каламбуре, удачном по находчивости и смелости, и хотел сказать ещё что-нибудь такое же удачное, но его сиятельство вновь углубился в газету и кивнул головой...

А Аня всё каталась на тройках, ездила с Артыновым на охоту, играла в одноактных пьесах, ужинала, и всё реже и реже бывала у своих. Они обедали уже одни. Пётр Леонтьич запивал сильнее прежнего, денег не было, и фисгармонию давно уже продали за долг. Мальчики теперь не отпускали его одного на улицу и всё следили за ним, чтобы он не упал; и когда во время катанья на Старо-Киевской им встречалась Аня на паре с пристяжной на отлёте и с Артыновым на козлах вместо кучера, Пётр Леонтьич снимал цилиндр и собирался что-то крикнуть, а Петя и Андрюша брали его под руки и говорили умоляюще:

— Не надо, папочка... Будет, папочка...

Примечания

1. [1.2](#) По правилам [Крест Святой Анны](#) II степени полагалось носить на шее, а III степени — на груди (*прим. редактора*).
2. ↑ фр. *bijoux* — драгоценности (*прим. автора*).
3. ↑ фр. *grand rond* — большой круг (*прим. автора*).

Экранизации

- [«Анна на шее»](#) — художественный фильм, 1954 год
- [«Анюта»](#) — фильм-балет, 1982 год

Об этом электронном издании

Эта книга из [Викитеки](#)^[1] — цифровой библиотеки, созданной добровольцами и включающей издания всех типов: прозы, стихов, журналов, писем...

Книги библиотеки доступны бесплатно. В библиотеку включаются издания, находящиеся в народном достоянии, а также опубликованные со свободной лицензией. Вы вправе использовать эту электронную книгу в любых целях (включая коммерческую) при условии соблюдения лицензии [CC BY-SA 4.0](#)^[2] или [GNU FDL](#)^[3] на ваш выбор.

Викитека приветствует новых участников. При создании этой книги мы могли сделать ошибки. Вы можете сообщить о них на [этой странице](#)^[4].

Следующие участники внесли вклад в редакцию этой книги:

- Michael1809*Mike
- Sergey kudryavtsev
- ChVA

- ChVABOT
- Lozman
- Vadim VMog
- HinoteBot
- Валерий Пасько

-
1. [↑](http://wikisource.org)http://wikisource.org
 2. [↑](http://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)http://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
 3. [↑](http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html
 4. [↑](https://ru.wikisource.org/wiki/Викитека:Форум)https://ru.wikisource.org/wiki/Викитека:Форум